

КОГДА ЖЕ ПОЙДЕТ СНЕГ?



*Светлой памяти
Владимира Николаевича Токарева*

За ночь исчезли все городские дворники. Усатые и лысые, пьяные, с сизыми носами, громадные глыбы в коричневых телогрейках, с прокуренными зычными голосами; дворники всех мастей, похожие на чеховских извозчиков, — все вымерли за сегодняшнюю ночь.

Никто не сметал с тротуаров в кучи желтые и красные листья, которые валялись на земле, как дохлые золотые рыбки, и никто не будил меня утром, перекликаясь и гремя ведрами.

Так они разбудили меня в прошлый четверг, когда мне собирался присниться тот сон, даже не сон, а чувство надвигающегося сновидения без событий и действующих лиц, все сотканное из радостного ожидания.

Ощущение сна — сильная рыба, бьющаяся одновременно и в глубине организма, и в кончиках пальцев, и в тонкой коже на висках.

И тут меня разбудили проклятые дворники. Они гремели ведрами и шаркали метлами по тротуару, сметая в кучи прекрасные мертвые листья, которые вчера еще струились в воздухе, как золотые рыбки в аквариуме.

6 В то утро я проснулась и увидела, что деревья пожелтели вдруг за одну ночь, как седеет за одну ночь человек, переживший тяжкое горе. Даже то деревце, которое я посадила весной на субботнике, стояло, вздрагивая золотистой шевелюрой, и было похоже на ребенка с взлохмаченной рыжей головкой.

«Ну, началось... — сказала я себе, — приветик, началось! Теперь они будут сметать листья в кучи и сжигать, как еретиков».

Это было в прошлый четверг. А сегодня ночью все городские дворники исчезли. Исчезли, ура! Во всяком случае, это было бы просто здорово: город, заваленный листьями. Не наводнение, а налистнение...

Но, скорее всего, я просто проспала.

Сегодня воскресенье. Максим не идет в институт, а папа на работу, и мы весь день будем дома. Все втроем, весь день, с утра до вечера.

— Дворников больше не будет, — сказала я, садясь за стол и намазывая масло на кусок хлеба. — Все дворники кончились сегодня ночью. Они вымерли, как динозавры.

— Это что-то новенькое, — буркнул Максим. Помогло ему, он был сегодня не в духе.

— А я редко повторяюсь, — охотно согласилась я. Это было началом нашей утренней разминки. — У меня обширный репертуар. Кто сделал салат?

— Папа, — сказал Максим.

— Макс, — сказал папа. Это они произнесли одновременно.

— Молодцы! — крикнула я. — Не угадали. Салат вчера вечером сделала я, и поставила в холодильник. Там он, я полагаю, был найден?

— Да, — сказал папа. — Бестия...

Но и он сегодня был не в духе. То есть не то чтобы не в духе, а вроде бы чем-то озабочен. Даже эта утренняя зарядочка, которую я запланировала с вечера, успеха не имела.

Папа минут десять еще покопался в салате, потом отложил вилку, уперся подбородком в сцепленные руки и сказал:

— Нужно обсудить одно дело, ребята... Я хотел с вами поговорить. Вернее, посоветоваться. Мы с Натальей Сергеевной решили жить вместе... — Он помолчал, подыскивая еще какое-то слово. — Ну-у, что ли, связать свои судьбы.

— Как? — ошалело спросила я. — Как это?

— Папа, прости, я забыл поговорить с ней вчера, — торопливо сказал Макс. — Мы не возражаем, папа.

— Как это? — тупо переспросила я.

— Мы поговорим в той комнате! — сказал мне Макс. — Это все понятно, мы все понимаем.

— Как это? А как же мама? — спросила я.

— Ты с ума сошла? — спросил Макс. — Мы поговорим в той комнате!

Он с грохотом отодвинул стул и, схватив меня за руку, поволок в нашу комнату.

— Ты что, с ума сошла? — холодно повторил он, насильно усадив меня на диван.

Я спала на очень старом диване. Если заглянуть за второй валик, к которому я спала ногами, можно увидеть наклейку, рваную и еле заметную: «Диван № 627».

Я спала на диване № 627 и иногда ночами думала, что где-то у кого-то в квартирах стоят такие же старые диваны: шестьсот двадцать восемь, шестьсот двадцать девять, шестьсот тридцать — младшие братья моего.

8 И я думала, какие, должно быть, разные люди спят на этих диванах, и о каких, должно быть, разных вещах они думают перед сном...

— Максим, а как же мама? — спросила я.

— Ты с ума сошла-а! — простонал он и сел рядом, зажав ладони между колен. — Маму не воскресишь. А у отца жизнь не кончена, он еще молод.

— Молод?! — с ужасом переспросила я. — Ему сорок пять лет.

— Ни-на! — раздельно сказал Максим. — Мы же взрослые люди!

— Это ты взрослый человек. А мне пятнадцать.

— Шестнадцатый... Мы не должны отравлять ему жизнь, он и так долго держался. Пять лет один, ради нас...

— ...и еще потому, что он любит маму!

— Нина! Маму не воскресишь!

— Что ты повторяешь, как осел, одно и то же!!! — заорала я.

Зря я так выразилась. Никогда не слышала, чтобы ослы повторяли одну и ту же фразу, и вообще это весьма привлекательные животные.

— Ну, поговорили... — устало сказал Максим. — Ты все поняла. Отец будет жить там, у нас негде, да и мы с тобой, в конце концов, взрослые люди. Это даже хорошо, что папина мастерская станет твоей комнатой. Тебе давно пора иметь свою комнату. Перестанешь прятать на ночь лифчики под подушку, будешь вешать их на спинку стула, как человек.

Откуда он знает про лифчик? Ну и дурак...

Мы вышли из комнаты. Отец сидел за столом и гасил сигарету в пустом блюдечке из-под колбасы.

Максим подтолкнул меня вперед и положил руку туда, где сзади у меня начиналась шея. Он ласково по-

гладил меня по шее, как рысака, на которого ставят, и сказал вполголоса:

— Ну...

— Ты что делаешь? — крикнула я на отца дворничьим голосом. — Пепельницы тебе нет? — и быстро пошла к двери.

— Ты куда? — спросил Максим.

— Да пройдусь... — ответила я, надевая кепку.

И тут зазвонил телефон.

Максим поднял трубку и вдруг сказал мне, пожимая плечами:

— Тебя. Очень мужской голос.

— Это какая-то ошибка, — сказала я.

Вообще-то я не привыкла, чтобы мне звонили мужчины. Мужчины мне еще не звонили. Правда, где-то в седьмом классе надоедал один пионервожатый из нашего лагеря. Он говорил неестественно высоким, смешным голосом. Когда он звонил по телефону и попадал на брата, тот кричал мне из коридора: «Иди, там тебя евнух спрашивает!»

Этот говорил красивым низким голосом.

— Вас зовут Нина, — сказал он.

— Спасибо, я в курсе, — машинально ответила я.

— У вас чудесный голос. Простите, я волнуюсь и говорю пошлости. Я видел вас в театре...

— Да. На премьере моего спектакля «Преступление и наказание», — сказала я. Кто-то из нашего класса меня разыгрывал, это было ясно.

— Н-нет... — нерешительно возразил он. — Вы сидели в амфитеатре. Мой товарищ, оказался, совершенно случайно знал вас и дал номер телефона.

— Это какая-то ошибка, — сказала я скучным голосом. — Последние тридцать два года я не бываю в театре.

10 Он засмеялся — у него был очень приятный смех — и укоризненно сказал:

— Нина, это несерьезно. Понимаете, мне необходимо вас увидеть. Просто необходимо. Меня зовут Борис...

— Борис, я очень сожалею, но вас разыграли. Мне пятнадцать лет. Ну, шестнадцатый...

Он опять засмеялся и сказал:

— Это не так плохо. Вы еще достаточно молоды.

— Хорошо, мы встретимся сейчас, — решительно сказала я. — Только знаете что, давайте оставим эти опознавательные газеты в руках и традиционные цветки в петлицах. Вы угоняете машину марки «Москвич» и едете в сторону пустыни Гоби. Я надеваю красный комбинезон и желтый картуз и иду в том же направлении. Там мы и встретимся... Одну минутку! Вы не дворник по профессии?

— Нина, вы — чудо! — сказал он.

Больше всего ему понравилось, что я действительно пришла в красном комбинезоне и желтом картузе. Этот картуз привез мне из Ленинграда Макс. Громадный кепон с длинным таким, комичным козырем.

— Ты похожа на подростка из американского боевика, — сказал Максим. — А вообще модно и здорово.

Правда, на меня с ужасом оборачивались старухи, но в принципе это можно было пережить.

Так вот, больше всего ему понравилось, что я действительно пришла в красном комбинезоне и желтом картузе. Но начинать надо не с этого. Начать надо с того момента, когда я увидела его на углу, возле овощного киоска, там, где мы в конце концов договорились встретиться.

Я сразу поняла, что это он, потому что в руке он держал три громадные белые астры, и потому что,

кроме него, возле этого вонючего киоска стоять было некому.

Он был потрясающе красив. Самый красивый парень из тех, кого я видела. Даже если он был в девять раз хуже, чем это мне показалось, все равно он был в двенадцать раз лучше самого красивого мужчины.

Я подошла совсем близко и уставилась на него, засунув руки в карманы. Карманы в комбинезоне пришиты высоковато, поэтому локти торчат в стороны, и я становлюсь похожа на человечка, собранного из металлоконструкций.

Он раза два взглянул на меня и отвернулся, потом вздрогнул, снова посмотрел в мою сторону и растерянно начал меня разглядывать.

Я молчала.

— Это... Ты кто? — наконец испуганно спросил он.

— Я монах в синих штанах, в желтой рубашке, в сопливой фуражке. — Я вспомнила детскую считалку и, кажется, некстати. Он ее успел забыть, и потому смотрел на меня, как на ненормальную.

— Но как же... Ведь Андрей говорил, что ты...

— Все ясно, — сказала я. — Андрей Волохов из пятой квартиры. Наш сосед. Он пошутил и дал номер моего телефона. Он шутник, разве вы не замечали? Одно время он посылал мне любовные письма, подписывался гиперболоидом инженера Гарина.

— Так... — медленно сказал он. — Оригинально. — Хотя мне показалось, что создавшаяся ситуация была похожа скорее на идиотскую, чем на оригинальную.

— Да, вот, во-первых, возьми... — Он протянул мне астры. — А во-вторых, это ужасно! Где же я теперь найду ее?

— Кого?

— Ну, ту девушку, которую я видел в театре.

Он посмотрел на меня расстроенным взглядом, сочувствуя, наверное, и себе и мне.

— Слушай, а тебе в самом деле лет пятнадцать? — сказал он.

— Не лет пятнадцать, а пятнадцать лет. Даже шестнадцатый, — поправила я его.

— Ничего, что я на «ты»?

— Ничего, — сказала я. — Со мной по-другому не получается. Я карманная.

— А?

— Маленького роста... — сказала я.

— Подрастешь еще...

Подбодрил. Ненавижу!

— Ни в коем случае! — оборвала я. — Женщина должна быть статуэткой, а не Эйфелевой башней.

Лгала бесстыдно. Благоговее в душе перед крупными женщинами. Но что поделаешь — при моих доспехах нужно уметь обороняться.

Он весело хмыкнул, потер переносицу и внимательно взглянул из-под бровей.

— Знаешь что, если такое дело, пойдем посидим в парке, что ли?.. Съедим по порции эскимо! Говорят, оно здорово помогает при расстройстве нервной системы. Эскимо любишь?

— Люблю. Все люблю! — сказала я.

— А есть на свете такое, чего ты не любишь?

— Есть. Дворники, — сказала я.

Эскимо в парке не оказалось, и вообще там ни черта не оказалось, кроме пустых скамеек. А мороженое продавали только в кафе.

— Зайдем? — спросил он.

— Ну конечно! — удивилась я.

Было бы просто глупо, если бы я упустила такой случай. Не так уж часто приглашает меня в кафе потрясающе красивый мужчина, и еще я пожалела, что сейчас не вечер и не зима. В первом случае кафе было бы набито людьми и играла бы музыка, а во втором случае он наверняка помог бы мне снять пальто. Должно быть, это чертовски приятно, когда снимать пальто вам помогает такой красивый парень.

— Что же все-таки мне делать? — задумчиво проговорил он, когда мы уже сидели за столиком. — Где ее искать?

— По-моему, ее и искать не стоит, — небрежно сказала я.

Мы сидели на летней площадке под тентами. Скверик просвечивался отсюда насквозь, так что видны были фонарь у входа и афиша на фанаре.

— Вы увидели в театре девушку, которая вам понравилась. Девушка красивая. Ну, и что? Вон их сколько на улице! Я тоже буду красивая, когда вырасту, подумаешь! Но если уж вам так хочется найти именно ту, объявите экспедицию, снарядите корабль, наберите команду, а меня возьмите юнгой.

Он расхохотался.

— Ты просто прелесть, малыш! — сказал он. — Но прелестней всего то, что ты и в самом деле явилась в красном комбинезоне и желтом картузе. За свои двадцать три года... ну, двадцать два... я впервые столкнулся с таким экземпляром, как ты!

Я облизнула ложку и, прищулив один глаз, закрыла ею слепое осеннее солнце.

— Это что, мой возраст или как я выгляжу позволяет вам говорить таким снисходительным тоном? По-

14 чему вы уверены, что я не дам вам по носу? — с любопытством спросила я.

— Ну не сердись, — сказал он и улыбнулся. — С тобой забавно разговаривать. Выходи за меня замуж, а?

— Еще не хватало, чтобы мой муж был старше меня на семь лет. Чтобы он умер на семь лет раньше меня. Еще этого не хватало. — Тут он просто тюкнулся в розетку от смеха. — И вообще, самая приятная вещь — остаться старой девой и варить из айвы варенье. Тысячи банок варенья. Потом дожидаться, пока оно засахарится, и раздавать его родственникам. — Я серьезно смотрела на него. Это уже наступил тот момент в разговоре, когда я начинаю острить без улыбки.

— А мама не возражает против этой установки? — подмигнув, спросил он.

— Мама в принципе не возражает, — сказала я. — Мама погибла пять лет назад в авиационной катастрофе.

У него изменилось лицо.

— Прости, — сказал он, — прости, ради бога.

— Ничего, бывает... — спокойно ответила я. — Еще мороженого!

Мне не хотелось мороженого. Просто приятно было смотреть, как этот высокий красивый парень послушно поднялся и направился к стойке. На секунду могло показаться, что пошел он не потому, что хорошо воспитан, а потому, что это я, я потребовала еще порцию мороженого!

В сущности, мне было все равно, посидит он здесь еще минут пятнадцать или вежливо распрощается. Просто иногда бывает интересно притвориться перед самой собой. Всегда развлечение...

По дорожке мимо кафе проехал пацан на велосипеде. Он держался за руль одной рукой, как бы показывая

этим, что — фи, чепуха, он, если захочет, сможет ехать, вообще не держась за руль.

Несмотря на будний день, в скверике царило безделье. Оно шуршало газетами на скамейках, сквозило солнечными лучами в листьях деревьев, и даже снующие по своим делам люди в скверике казались бесцельно шатающимися.

Всем безраздельно владела праздность...

— Скорее бы уж снег, — сказала я, когда он вернулся, поставив передо мной розетку с белым подтаявшим комочком. — Вы на санках катаетесь?

— Ага, — сощурился он. — Преимущественно этим и занимаюсь.

Когда он это сказал, я вдруг поняла, что передо мной уже совсем взрослый и, вероятно, очень занятой человек.

Я подумала, что хватит, нужно раскланяться и убраться восвояси, и неожиданно для себя сказала:

— А пойдите в кино!

Это была вершина моей наглости и хамства. Но он не дрогнул.

— А уроки когда делать?

— Я не готовлю уроков. Я способная.

Я отчаянно смотрела на него, и взгляд мой был нахален и чист...

Мы гуляли по городу до тех пор, пока не начало смеркаться. Я вела себя скверно, совсем сошла с ума. Я болтала без умолку, забегая перед ним, размахивая руками и заглядывая ему в глаза. Это был стыд, позор, ужас. Я походила на семилетнего Петьку, которого повел в зоопарк летчик-сосед дядя Вася.

Пошел дождь, и, не обращая внимания на этот драгоценный дар неба, по улицам сновали люди. Они

16 вылезали из такси, громко хлопнув дверцей, изучали витрины магазинов или, проходя мимо, окидывали их взглядом, стояли на остановках трамваев, мимоходом договаривались о встречах. И у многих в руках были зонтики — милые и добрые механизмы. Самое невинное, что изобрели люди.

Затем опять показалось солнце, высветляя на тротуарах мокрые озябшие листья, и запах палых листьев, острый осенний запах будоражил душу и заполнял ее ни с чем не сравнимой тоской. Но не ноющей, а сладкой и веселой тоской, словно люди, бредущие в сумерках по осеннему городу, были не действительностью, а дорогим воспоминанием.

Нынешняя осень была особенно радостной и светлой. Ликующей. С каждым днем все яснее виделась гибель лета, и осень торжествовала победу над умирающим противником в упоительной желтизне и оранже...

Наш неосвещенный подъезд в сумерках напоминал одновременно беззубую разинутую пасть и пустую глазницу.

Я понимала, что это завершение неповторимого дня, и старалась придумать для него такое же прекрасное многоточие, но, подойдя к подъезду, обнаружила, что ничего не получается, и почему-то сказала:

— Вот таким образом. Ну, я пошла...

— Это отец поднял трубку?

— Брат. Хороший брат, качественный. Ленинский стипендиат. Не то что я. У меня по литературе тройка. Кажется, я опять начала... Ну, я пошла!

— А отец хороший?

— Еще лучше брата. Он художник-декоратор в театре. Хороший художник и отец хороший, вот только жениться вздумал.

— Ну и пускай...

— Не пуццу!

— А ты злюка! — Он засмеялся.

— Ну, я пошла?

И тут случилась первая неожиданная вещь.

— А можно я буду звонить тебе, когда мне будет не слишком весело? — спросил он небрежно, прищурившись.

И тут случилась вторая неожиданная вещь.

— Нет, — сказала я. — Лучше я позвоню вам, когда мне будет не слишком грустно...

Сегодня вечером папа уходил. Мы в первый раз оставались вдвоем.

Он щеткой чистил в коридоре туфли, а мы торчали тут же: я сидела на табуретке, а Максим стоял, прислонившись к косяку, — и молча следили за его движениями.

Папа был веселым и бодрым — во всяком случае, казался таким. Он рассказал нам два анекдота, а я в это время думала, что вот он уходит, а вещи его пока остаются, но потом он их, конечно, будет постепенно уносить, как это у людей делается.

Не унесет только мамин портрет со стены, его любимый портрет, где мама нарисована фломастером, вполоборота, как бы оглянувшись, с длинной сигаретой в длинных пальцах. Этот портрет нарисовала мамина приятельница — журналистка тетя Роза. У нее была кошка, которая начинала плакать, услышав песню «Синий скромный платочек». Да что это я — была! Есть. И кошка есть, и тетя Роза есть...

18 Сегодня папа уходил.

Он, конечно, будет часто приходить и звонить, но никогда больше не зайдет поздно вечером в нашу комнату, чтобы поправить одеяла на своих дылдах.

Сегодня папа уходил к женщине, которую он любит.

Он дочистил туфли, снял сетку с гвоздя и весело сказал:

— Ну, пока, пацаны! Завтра позвоню.

— Ну, давай! — в тон ему бодро сказал Максим и открыл дверь.

На лестничной площадке папа еще раз приветственно помахал рукой.

Когда захлопнулась дверь, я заорала. Признаться, я с нетерпением ждала этого момента, чтобы нареветься за милую душу. Я плакала взахлеб, сладко, горько, с подвываниями, как плачут маленькие дети. Максим с силой прижимал мое лицо к своей фланелевой рубашке, так что трудно было дышать, без конца гладил меня по голове и тихо, торопливо повторял:

— Ну все, все... Ну хватит, хватит... — Он боялся, что отец еще не вышел из подъезда и может услышать мой концерт.

Я замолчала, и мы долго слонялись по комнатам, не зная, за что взяться. В животе у меня ныло.

Так мы дотянули до одиннадцати. Потом Максим постелил мне в отцовской мастерской, что означало вступление в права хозяйки комнаты, загнал меня в постель, погасил свет и вышел.

Надо было чем-то заняться. Я решила поразмышлять обо всем этом. Заложилa руки за голову, закрыла глаза и приготовилась. Но сегодня у меня ни черта не полу-

чалось, все как-то разваливалось, как большое белое пузо той снежной бабы, которую мы с отцом возвели прошлой зимой у нашего подъезда. Я думала обо всем сразу и ни о чем. Не успевала я подумать об одном невыносимом происшествии, как на меня насакивали мысли о другом, таком же нестерпимом и невыносимом.

Я вообще-то не могу думать сразу о нескольких предметах. Я выбираю один, тот, что мне сейчас больше интересен, и начинаю его обдумывать. Причем ни в коем случае не выхожу за рамки этого предмета.

Потом я мысленно говорю себе: «Ну, об этом — все. Валяй дальше» — и приступаю к другой теме.

Например, когда я думаю о папе, я могу думать о его мастерской, о театре, о декорациях к новому спектаклю, о рубашке, которую ему надо погладить к премьере.

О том, что после премьеры в служебном гардеробе он галантно поможет надеть пальто Наталье Сергеевне — ассистенту режиссера — и поведет ее к нам домой. Пить чай.

И они будут пить чай в той комнате, где висит мамин портрет. Там мама, как бы случайно оглянувшись, удивленно смотрит, держа на весу руку с только что закуренной сигаретой.

И при всем том мне в голову не придет начать думать о маме. Мама — это особая, громадная, тысячу раз обдуманная область мысли. В ней водятся журналистские симпозиумы, с которых мама летит в неразбивающихся самолетах и везет мне ручку с купальщицей (повернешь ее вниз — женщину заполняет синий купальник, вверх — купальник как рукой сняло).

Я зажгла ночник и села на кровати. Приятно посидеть в обществе своей физиономии, повторенной во

20 множестве вариантов и выполненной в разнообразных позах.

Ни один великий человек не может похвастать таким количеством своих портретов, как я. Папа говорит, что я — великолепная модель, так как продолжаю сидеть даже тогда, когда мне уже кажется, что я огрызок копченой колбасы и что рука, которая лежит на коленке, никогда больше не сможет коснуться никакой другой части тела.

Шесть моих портретов висели на стенах, остальные стояли внизу.

На зеркале висел забытый папин галстук, синий в белый горошек. Я надела его поверх ночной сорочки и подтянула повыше. Нет, все-таки я больше на маму похожа! И нос, да и подбородок тоже...

Я открыла дверь в нашу комнату. Максим сидел за столом и смотрел в одну точку. Он повернулся и странно поглядел на меня.

— Макс, — сказала я, теребя галстук, безвольно болтавшийся на моей куриной шее. — Конечно, это здорово, что у меня теперь есть комната. Но можно я еще чуть-чуть посплю на своем диване?

Я воевала с собой три дня. Я лупцевала себя по физиономии, бросала на землю и топтала ногами. Мне кажется, я смогла бы написать роман о том, как прожить эти три дня, вернее сказать, о том, как выжить сквозь эти три дня. И первая часть романа называлась бы «День первый».

Потом я набрала номер его телефона, и с ужасом слушала, как на меня накатываются протяжные гудки, как волны, накрывая меня с головой.

«Если сердце мое разобьется, что станешь делать с нелепыми осколками?» — скажу я ему сейчас.

Но голос в трубке так умеренно и безразлично произнес «Да?», что я вдруг окаменела и робко сказала:

— Ну, вот и здравствуйте...

— Слушай, ну нельзя же месяцами пропадать! — насмешливо и обрадованно крикнул он. — В экспедиции ты уходишь, что ли?

Мы не виделись три дня. Мне сейчас показалось, что все существующие в мире ласковые и отрадные слова превратились в оранжевые апельсины, и я купаюсь в них, подбрасываю и ловлю, и я жонглирую ими с необыкновенной ловкостью.

— Ну, ты намерена произнести сегодня что-нибудь путное, ужасное дитя? — спросил он. — Или ты совершенно деградировала за три дня?

— О, это прелестно, что вы дни считаете, — спокойно сказала я, чувствуя, как почему-то дрожит большой палец правой ноги. — Вы, наверное, просто по уши влюблены в меня.

Он засмеялся, как смеются, когда услышат хорошую остроту, — с удовольствием.

— Наглый подросток, — сказал он. — Ну как твои дела по литературе?

— Скверно. Мне уж третью неделю надо писать сочинение о Катерине в «Грозе», а я как только подумаю об этом, так у меня просто руки отваливаются. Что делать?

— Подожди, пока они отвалятся совсем, и сошлись на то, что тебе нечем было писать.

Мы одновременно прыснули в трубку. Кто-то позвонил в квартиру.

— Одну минутку, — сказала я. — Нам молоко принесли.

Это была Наталья Сергеевна. Она улыбалась, и ее полное, с нежной розовой кожей лицо, статная фигура

22 в темно-синем пальто с меховым воротником, пухлые руки в синих перчатках — все в ней дышало оживлением и пикантностью.

— Нинуль! — весело и задорно, как всегда — это был ее стиль, — проговорила она, протягивая мне полную сетку с апельсинами. — В театре давали, папа взял.

— Ваш папа? — коротко спросила я.

— Ваш! — засмеялась она. Сделала вид, что не обратила внимания. — Он взял для вас шесть килограммов, а занести попросил меня: его срочно вызвали.

Я весело и задорно выпалила:

— Да что вы, Натальясерегевна, да у нас полным их полно! Весь балкон завален! Деваться от них некуда! В кухне под руками валяются!

Она удивленно подняла тонкие, как стрелки, брови, переложила сетку из правой руки в левую и немного отступила назад.

— Зря вы только такую тяжесть таскали! — веселилась я. — У нас они по всему коридору катаются. Вон один в тапке светит! Максим вчера гвоздь в туалете апельсином забивал!

Она стала спускаться по лестнице и все время неловко улыбалась и повторяла: «Ну ладно, ну что ж...»

Я захлопнула дверь и воровато оглянулась. Максим стоял в дверях нашей комнаты и смотрел на меня. Я подумала, что сейчас он прибудет меня, как сидорову козу, и еще подумала, что здорово, наверно, попало этой козе, если она вошла в поговорку.

— Да купим мы эти проклятые апельсины! — жалобно и трусливо крикнула я.

Он молчал. Я подумала: скверно, совсем шкуру спустит.

— Ну что ты маешься, бендюжка! — тихо сказал он, вышел и прикрыл за собой дверь.

«Бендюжка»... Что-то маленькое, убогонькое, хроменькое. Это он от волнения слог перепутал.

Я на цыпочках подошла к телефону и тихонько опустила трубку на рычаг...

«Вы заставляете упрашивать себя, маэстро! Ну начинайте же, это некрасиво! Вы заставляете всех ждать!»

Снег не начинался... Я сидела на старом диване № 627 и упрашивала снег начать представление. Чтобы с неба грянули миллионы слепых белых акробатов.

Я сидела, обхватив колени длинными руками. Таки ми длинными, как змеящиеся рельсы железной дороги, гибкие и сплетающиеся. Если б я захотела, я бы охватила ими огромное расстояние. Весь наш город с домами и ночными улицами. Я бы поместила его между животом и приподнятыми коленями. Тогда тень от подбородка была бы тучей, закрывающей полгорода. И эта туча разразилась бы великим полчищем слепых кувыркающихся акробатов. И наступит великая тишина. Ядохну теплым ветром, и в каждом доме окна заплачут длинными кривыми дорожками.

В одном из домов живет мой папа. Он говорит, что воображаемое увеличение или уменьшение предметов у меня с детства, от папиных эскизов и моделей декораций. Он часто подолгу делал их — крошечную комнату или уголок сада, а я мысленно населяла их людьми. Я приближала глаза к игрушечной сцене и шепотом разговаривала с этими людьми. В детстве я с ними разговаривала...

24 Вся беда в том, что не начинался снег. А он должен был дать сегодня одно из самых грандиозных своих представлений.

«Это стыдно, маэстро, так ломаться! Ну прошу же вас, прошу!»

— Что ты там бормочешь? — спросил Максим и сел на кровати.

— Я хочу снега, — ответила я, не поворачивая головы.

— А я хочу курить. Дай-ка мне спички с подоконника.

Я бросила ему спичечный коробок, он закурил.

— Что за тип звонит тебе в последнее время? — подняв бровь, строго спросил он.

— У тебя сейчас идиотская поза какого-нибудь американского босса, — сказала я. — Это не тип. Это, предположим, инженер. Он проектирует землеройки, или сенокосилки, или сноповязалки. Он объяснял, я не запомнила что.

— Какие землеройки?! — вдруг закричал Макс так, что я вздрогнула. Редко он так сразу распаляется. — Что ты за человек! Тебя же из дому нельзя выпустить, ты, как свинья лужу, ищешь для себя идиотские приключения!

— Макс, пожалуйста, не так интенсивно... — У меня с утра болели спина и мой проклятый правый бок, а тут все еще больше разболелось.

— Ты отдаешь себе отчет в том, что надо таким вот «инженерам» от таких дурочек, как ты? — сухо спросил он.

— Представляешь, каким нужно быть уродом и кретином, чтобы что-то хотеть от меня? — подхватила я.

Тогда он стал пугать меня всякими невероятными историями, которых в жизни, как правило, не бывает. Он долго говорил, так долго, что мне показалось, будто я успела раза три заснуть и опять проснуться. А бок болел все сильнее и сильнее, и я старалась, чтобы Макс не заметил, как я цепляюсь за него.

Но он заметил.

— Опять?! — крикнул он, и в глазах его застыл ужас. У них всегда такие глаза, когда у меня приступы. Он ринулся в коридор и стал набирать номер отцовского телефона. В коридор, в трусах. Там же холодно...

Пока он паниковал и кричал в телефон, я тихонько лежала на диване, скорчившись, и молча смотрела в окно.

«Эх ты... — мысленно упрекала я снег. — Так и не начался...»

Я знала, что это последние спокойные, хоть и болевые минуты. Сейчас приедет на такси отец, приедет «Скорая» и все завертится, как в немом кино...

Нам повезло. Дежурил мой дорогой доктор с чудесным именем — Макар Илларионович. Девять лет назад он удалил мне почку, и меня чертовски интересовало, что он будет делать на этот раз. Макар Илларионович был ранен во время войны, ранен в шею, поэтому, когда он хотел повернуть свою совершенно лысую голову, приходилось разворачиваться плечом и грудью. Он был замечательным хирургом.

— Так, — хмуро сказал он, осматривая меня. — и чего ты здесь околачиваешься? Ты мне совершенно не нужна!

26 Он что-то буркнул медсестре, та подошла ко мне со шприцем.

«Теперь все в порядке», — подумала я, цепenea от боли.

Отец вел себя скверно. Он выудил из какого-то потайного кармана расческу и выделявал с ней что-то невероятное. Казалось, сам он был обособленным существом, а суетящиеся, издерганные руки вытворяли черт знает что по собственной инициативе. Все время он топтался около Макара Илларионовича, потом, не стесняясь меня, сказал умоляющим голосом:

— Доктор, эта девочка должна жить!

Макар Илларионович быстро развернулся к отцу плечом, должно быть, собираясь ответить что-то резкое, но посмотрел на него и промолчал. Может быть, вспомнил, что девять лет назад здесь стояли оба моих родителя и умоляли его о том же.

— Ступайте домой, — мягко сказал он. — Все будет так, как надо.

В город вернулись теплые дни.

Они возвратились с удвоенной лаской, как возвращаются неверные жены. Целый день по небу шлялись легкомысленные, беспокойные облачка, а сухие, по-осеннему поджарые листья густо лежали на земле молча, без шороха. Несколько дней город, казалось, находился в теплом и каком-то блаженном обмороке, он предавался осени, этой изменчивой лгунье, и не верил, не хотел верить в скорое наступление холодов...

Целыми днями я просиживала на скамеечке в дальнем углу больничного парка, наблюдая за игрой геометрических теней от голых сухих веток деревьев. Тени

скользили по выцветшему рисунку больничного халата, по рукам, по асфальту.

По двору гоняли две влюбленные псины...

Парк проглядывался насквозь, и отсюда видны были проходная, четырехэтажные корпуса больницы, решетчатая ограда. За оградой, сразу через дорогу, было фотоателье с внушительной витриной. На фотографиях, выставленных в ней, люди все сидели с вывороченными головами, как индюки со свернутыми шеями. Все они, с интересом и надеждой подавшись вперед, как бы слушали невидимого оратора, окончание речи которого нельзя пропустить и которому нужно обязательно хлопать.

За оградой существовал мир здоровых людей. Для меня это было враждебное государство. Мне внушали недоумение их здоровье и веселость.

Иногда посидеть на скамеечке притаскивалась старенькая Вера Павловна — доктор наук, специалист по женским болезням, она была моей единственной соседкой по палате. Я замечала ее издали, она с чрезвычайной осторожностью передвигалась, придерживаясь за стены здания, за ограду, за деревья. Наконец усаживалась рядом со мной и долго переводила дух.

— В молодости человек не замечает, как годы летят, — начинает она. — И двадцать лет — молодая, и сорок лет — молодая. А я вот вспоминаю себя... Двадцать лет назад — ведь человеком еще была...

Мы долго сидим молча, вместе наблюдая за скользящими тенями на асфальте, потом она задумчиво рассказывает:

— Собралась я недавно дорогу перейти. Стою и никак не решусь; ходок я теперь неважный, а с прогрессом у нас шутки плохи. Стою и смотрю, как молодые

28 спешат, снуют по своим делам. Вдруг подходит ко мне женщина, берет под руку и говорит: «Здравствуйте, доктор! Вы меня, конечно, не помните, а вот я никогда вас не забуду. Я сейчас наблюдаю за вами и думаю: когда-то вы за двадцать минут сделали операцию, а сейчас вот уже четверть часа не можете дорогу перейти...»

Она закрывает глаза и смеется:

— А я разве упомяну ее? Я этих операций сотни переделала...

У Веры Павловны выпуклые глаза, и, когда она закрывает веки, глаза становятся похожими на сомкнутые створки раковины. Такие плоские, перламутровые внутри раковины, в которых прячутся нежные студнеобразные моллюски.

— Вот вам, наверное, родители кажутся престарелыми, а ведь по сравнению со мною, например, — совсем сопляки...

— У меня мама молодая, — говорю я. — У меня мама, Вера Павловна, знаете, изумительная женщина была. У нее вся жизнь была необыкновенной, изумительной. И профессия. Вы, наверное, помните, встречали, не могли не читать в газетах фельетоны Этери Контуа. Она и грузинкой была необыкновенной — рыжеволосая, синеглазая. Я ведь, кстати, не Нина, а Нино. Как вам это понравится? Нино... Она встретила отца, когда ей исполнилось шестнадцать. В этот день. И в этот же день они сняли какую-то халупу на окраине города. Знаете, Вера Павловна, мне, между прочим, тоже совсем скоро будет шестнадцать, и я все-таки посамостоятельней, чем была она, избалованная дочка, ни разу чайник не вскипятившая. И вот я часто думаю: смогла бы вот так, сразу понять, что это — судьба, и пойти за

человеком без оглядки? Я думаю — нет. Деда чуть кондрашка не хватил, когда он услышал. Сами понимаете — единственная, «бусинка, росинка, детка ненаглядная», и вдруг как снег на голову какой-то голоштаный третьекурсник художественного училища. Скандалище! В халупе посередине — мольберт с неоконченным ее портретом, у стены — раскладушка и две табуретки. Все. Эти сплетницы, соседки-кумушки, пальцами на нее показывали. А она ходила с большим животом и плевала на всех. И когда Максиму было семнадцать, ей было тридцать три, и она всегда неправдоподобно молодо выглядела, поэтому, когда они с Максимкой шли по улице, все думали, что она — его девушка.

А потом — этот самолет.

Я ненавижу самолеты, Вера Павловна, я никогда не сяду в самолет. И что самое удивительное — папа говорит, что он на наших глазах... А я не помню. И ведь я была тогда большой девочкой — десять лет. Помню на себе белые гольфы с бомбошками, помню, что Максим в тот день первый раз побрился и был ужасно горд этим, что папа не достал маминых любимых гвоздик и ходил поэтому расстроенным... Затем помню долгое, нехорошее ожидание в аэропорту. И вот... Наверное, он как-то неэффектно взорвался в воздухе, если я не помню. Ведь это ужасно, неправдоподобно, правда? Все кричали, и отец как-то смешно перепрыгнул через ограду и бежал по летному полю... и вот гольфы с бомбошками помню, а это — нет...

Я замолкаю и смотрю на влюбленных собак, лениво развалившихся на солнышке. Та, которую я считаю дамой, положила морду на рыжую лоснящуюся спину

30 своего поклонника. Полузакрытые глаза, влажный подергивающийся нос ее выражают покой, уверенность и легкое презрение к окружающим — в общем, чувства, присущие всякой счастливой женщине.

— Ох, боже мой, боже мой... — бормочет Вера Павловна, и мне приятно, что доктор наук так по-старушечьи вздыхает и жалеет меня.

Еще я занималась тем, что третий день наблюдала за девушкой, сидевшей у окна на втором этаже. Она читала. У нее были бледное веснушчатое лицо и изумительные, редкого медного оттенка волосы. Они выплескивались из открытого окна, а ветер ласкал и промывал ее волосы в теплом дыхании зрелой осени.

Почему-то мне казалось, что девушка очень больна, должно быть, она и в самом деле была серьезно больна: я никогда не видела ее во дворе. А ослепительные волосы, вырывающиеся из окна, как флаг, почему-то вызывали у меня одно воспоминание прошлого года.

Максим тогда встречался с одной фифой из консерватории, и по этому случаю на целых два месяца проникся к классической музыке трогательной любовью. Однажды он достал билеты в филармонию на симфонию Онеггера. Но с фифой в этот день произошла какая-то загвоздка, а может, началась пора умирания большой любви — не знаю, не помню, но, чтобы билеты не пропали, Макс потащил с собой меня.

Симфония, как мне показалось, называлась забавно: «Симфония трех “ре”» и, наверное, поэтому представлялась мне веселой и увлекательной штукой, чем-то вроде «Сказок братьев Grimm».

Позже, когда я сидела в обитом красным бархатом кресле и очухивалась, было поздно. Взлетали вверх обнаженные руки скрипачек с длинными смычками, и ка-

залось, это метались ослепительные языки пламени из черных факелов платьев.

Я сидела и думала, что добром это кончиться не может, должно произойти что-то ужасное, трагическое, что вот прервется музыка, и дирижер, похожий на грачонка в черном фраке, повернет к публике скорбное длинноносое лицо и скажет: «Друзья! Только что скончался дорогой всем нам...» — и назовет известное и близкое имя какого-то знаменитого человека. Так казалось.

Но вопреки моим опасениям все прошло благополучно, оркестранты молча выслушали аплодисменты и покинули сцену, а мы долго простояли в гардеробе в очереди за пальто.

Эту историю я вспомнила, глядя на бледную девушку в окне второго этажа, и мне очень хотелось, чтобы вскоре за ней пришла полная рыжая женщина, или худая рыжая женщина, — ее мать (только обязательно рыжая, такой она мне представлялась) — и чтобы девушка прошла с ней по двору не в больничном халате, а в каком-нибудь зеленом платье или красном брючном костюме. Чтобы она задержалась в проходной и сказала сторожу: «До свидания, дядя Миша», а он бы ей ответил: «Будь здорова, не болей больше».

И чтобы она никогда сюда не возвращалась...

По утрам приходил Максим, а вечерами, после работы, отец.

— Дневную вахту надо было поручить Наталье Сергеевне, — как-то сказала я Максиму.

— Ты стала невыносимой, — отозвался он. — Ты просто человек, с которым трудно говорить. И с каждым днем твой характер становится все тяжелее и тяжелее. Что дальше будет, ума не приложу!

32 — Ничего дальше не будет, — холодно успокоила
я его. — Это все скоро кончится, неужели ты не пони-
маешь?

— Паршивка, Нинка! — крикнул он, как в дет-
стве. — Что ты с нами делаешь! Посмотри, во что отец
превратился, он тенью ходит. Наталью Сергеевну не уз-
нать, так осунулась.

— Для этого ей, должно быть, пришлось сесть на
диету.

— Послушай... — Он нахмурился и замолчал, сби-
вая пепел с сигареты. Он устал спорить со мной.

— Ты же сам ее не любишь, Максимка!

— С чего ты это взяла? — угрюмо спросил он.

— Ну, я тебе, слава богу, сестра или нет? Ты ее не-
долголюбила за то, что она заняла мамино место.

— Никогда ни один человек не сможет занять место
другого. И тем более это касается женщин. Когда по-
гибает любимая женщина, вместе с ней гибнет целый
мир, даже не мир — целая эпоха в жизни человека; мо-
лодость, прожитая с ней, намерения, мысли, что были
с нею связаны, все гибнет вместе с ее жестами, голосом,
мимикой, походкой. Каково же человеку, когда то, что
могло быть в старости приятным воспоминанием, пре-
вращается в кошмар, в сплошную ноющую рану? Разве
может другая женщина, пусть даже по-своему близкая,
закрыть собой эту рану? По-моему, нет...

— А ты теперь у них обедаешь, да, Макс? Невкусно
она готовит?

— Нормально готовит, — пробурчал он. — И еще
вот что: разве она виновата в том, что мамы нет, что
отец был один, да и у нее жизнь не устроена? Неужели
все это так трудно понять, и неужели за это надо нена-
видеть человека?

— Я не ненавижу ее, — возразила я. — Если бы я ее ненавидела, я бы ее убила, я бы разбила окна в ее доме, я бы изорвала в клочья ее синее пальто. Я все понимаю. Но любить-то я не обязана, правда?

Максим смотрел на меня каким-то взрослым взглядом. Карман его пиджака оттопыривался от пачки сигарет, под глазами лежали круги. Должно быть, он сдавал очередной курсовой проект.

— Правда... — сказал он, и продолжал смотреть на меня задумчивым взрослым взглядом, как бы решая, говорить со мной как с человеком или махнуть на меня рукой.

— Это, наверное, потому, что ты еще ребенок, — проговорил он. — Ну, конечно, это потому, что ты не можешь понять, что это такое для мужчины — одинокие ночи. А это страшная штука — пять лет одиноких ночей...

— А мы? — спросила я, все еще не веря, что Макс так серьезно говорит со мной.

— Мы — дети. А нужен близкий человек, женщина, с которой можно пошептаться на подушке, голова к голове, и понервничать, что на работе неприятности, и встать к окну в трусах — покурить. А он дождется, пока мы уснем, и уходит в свою мастерскую, а там пусто, только семейный альбом с фотографиями, который он просматривал каждый вечер. Ты знала, что он каждый вечер просматривал наш альбом?

— Нет... — сказала я тихо.

Макс достал из пачки сигарету и закурил. За двадцать минут это была третья.

— Ты ужасно много куришь, — машинально заметила я, как обычно.

— Да, — сказал он. — Надо завязывать, а то скоро все потроха закопятся.